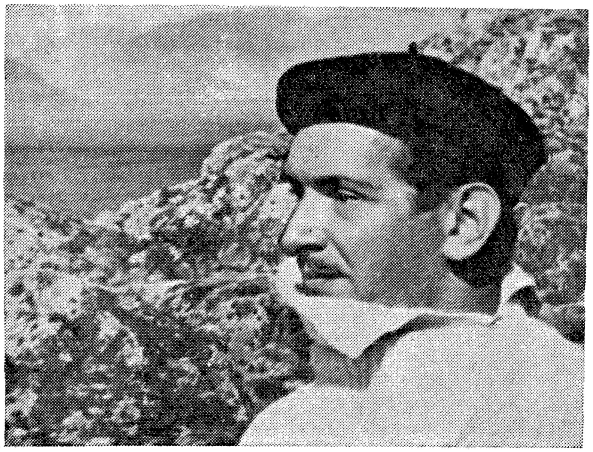


Николай
ДИМЧЕВСКИЙ

ДУХ ОКЕАНСКОГО ХЛЕБА

РАССКАЗ

Тесто замешивали в Охотском море, ночью.

С волнением отмеривал Костя муку, соль, проверял закваску. Хорошо знал, сколько чего надо, а сердце все побаивалось, замирало. Было в этом деле, кроме норм и порций, еще что-то неуловимое, смутное. Оно-то и вселяло в хлеб душу — тогда он выпекался пышным и вкусным. Но, случалось, хлеб не удавался — опара плохо подходила, тесто в печи не поднималось, и после, всю неделю, пока ели той выпечки хлеб, у Кости было плохое настроение. Потому и захватывалось сердце всякий раз, как готовил опару, словно прыгал с борта в шлюпку, подброшенную штормовой волной.

— Сполосни кипятком,— приказал он помощнику, первогодку матросу Боброву.

— Да ведь мыли дежу-то...

— Сполосни.

Костя знал, что дежа чиста-перечиста, отскребли ее, оттерли, а все-таки подумалось: надо еще обдать кипятком. И в этом было **оно**, то, неуловимое — сейчас надо обдать. На прошлой неделе не обдавали, а теперь надо. Он не мог бы объяснить, почему,— сердце чуяло. И когда Бобров кончил мыть, на душе стало спокойней.

Затем начиналась работа потяжелей: в дежу налили закваску, всыпали муку, отмерили воду — все еще существовало порознь, и самый вид несоединенных этих частей вызывал желание помочь им поскорей слиться, превратиться в живое тесто. Здесь было начало, и, как всякое начало, оно таило неизвестность, и поэтому, приступая к делу, Костя побаивался.

Он погрузил деревянную лопатку в дежу, повел осторожно по краю, пропуская воду вниз, под мучную перину. Эти первые круги он всегда совершал сам, приглядываясь, как неохотно вода схватывается с мукой и появляются первые грубые комья. Потом отдавал мешалку Володе.

Примерно половину замеса всегда делал Бобров. Его и хватало на половину. Так наворочается, что белая куртка прилипает к спине и через нее видится тельняшка, лоб тоже взмокает — на колпаке сырые разводы. И дышит, словно десять раз пробежал вдоль борта в химкомплекте... Не только он так уставал. Дали как-то в помощь одного из рулевых, тот взмолился: легче, говорит, ручной штурвал крутить, чем тесто месить...

Костя смотрит в дежу, и вспоминаются предпраздничные приготовления матери дома, в Усолье-Сибирском... Она замешивала тесто в большой кастрюле, и это было всегда преддверием праздника. Хлопоты с мукой и дрожжами выглядели таинственно, мать становилась замкнутой, и в доме воцарялась напряженная и радостная тишина. Тогда Костя, хоть убей, не смог бы сказать, как замешивается опара и зреет тесто. От тех дней осталось лишь чувство наступающего праздника. И чувство это не ушло до сих пор: стоит взглянуть на тесто — просыпается где-то глубоко-глубоко праздничное волнение, особое, то, давнее волнение. И его не может перебить нынешнее беспокойство за сегодняшнее тесто. И, может быть, это волнение, оставшееся с детства, было одной из главных причин, почему Костя сделался хлебопеком. Он никому не говорил об этом, да и сам не очень сознавал, но в тот день, когда ему предложили ехать на курсы, он вспомнил вдруг материны пироги и согласился, хоть специальность хлебопека вроде бы и не морская...

Бобров совсем взмок, пора его сменить. Костя поправляет свой белый колпак, засучивает рукава и, легонько оттолкнув напарника, берет из его рук лопатку. Володя так этому рад, что издает горловой звук, похожий не то на короткий смех, не то на хрюканье. Он отступает от дежи, с тем же чудным своим хрюканьем расправляет спину и достает сигареты — от усталости забыл про запрет курить около опары. Костя прогоняет его на ют и осматривает тесто.

Теперь главное — домешать, чтоб не осталось ни комочка муки, ни капли воды. В этой доводке есть тоже **оно**, то, неуловимое... Костя глубоко погружает мешалку и чувствует, как с каждым кругом тесто оживает, дышит, двигается. Вначале, когда была мука и вода, оно покорно поддавалось рукам, а теперь появляется жизнь и, как все живое, тесто обретает свой норов, его трудней заставлять ворочаться. Постепенно оно срастается в один цельный живой ком и не хочет подчиняться. Лопатка с трудом проходит его, руки напрягаются, как в схватке с противником, который с каждой минутой сильней, а ты уже выдыхаешься и руки просят отдыха. Но сейчас-то и нельзя остановиться. Чтоб не замедлить движения, Костя помогает рукам всем телом. Он так увлечен, что собственное отрывистое дыхание слышит будто со стороны, словно где-то рядом пыхтит машина...

Потом наступает последнее — определить, когда тесто совсем промешалось, и Костя, доверив мышцам тяжелую работу, как бы отрывается от них и смотрит на тесто, которое выдавливается из-под лопатки. Оно все круче, неуступчивей, все реже мелькают крапинки муки...

Ну вот, пора и кончать. Костя проводит последний круг и вынимает лопатку из дежи. Тело гудит, дрожь пробирает, как после штанги или гирь. Он стоит, присматриваясь к опаре и отдыхая, пока не пришел напарник. Вот уж и шаги... Бобров принес запах табака и шум: плюхнулся на банку—деревянную скамейку, возле двери, вытянул ноги. Костя с неприязнью посмотрел на него. Сейчас тесту может не понравиться любая мелочь...

Самому хочется сесть рядом с Володей, охота под душ, но эти желания Костя отметает пока что напрочь. Сразу после замеса наступает «оно самое», тесто начало жить, и теперь ничто не должно помешать этой зародившейся жизни, капризной и своевольной,— ни табачный дух, ни промедление.

— Пора накрывать,— потихоньку говорит Костя.

Володя вскочил, банка ударилась о переборку. Костя сморщился, как от боли.

— Тише! Чего гремишь! — прошипел он.

Шуметь нельзя: тесто всего боится, его испугаешь даже громким словом, а этот салажонок банкой чуть переборку не прошиб...

С болью на лице, молча Костя указал на щит, стоявший около печи. Володя на цыпочках к нему приблизился, и каждый шаг тяжелых бахил теперь уж и ему казался грохочущим и непростительным.

Они осторожно взяли щит, опустили на дежу. Потом Костя бесшумно расправил сверху кусок брезента и еще прикрыл опару двумя шерстяными одеялами.

Кивнул Володе. Тихо ступая, они вышли, прижавшись друг к другу, чтоб поскорей притворить дверь. Кроме шума, тесто боится еще и сквозняков, поэтому выходить надо быстро, чтоб его не продуло. Даже в сухопутных пекарнях выключают вентиляцию, когда опара отдыхает, все щели затыкают — очень она нежная. В море еще больше неожиданностей. Не говоря уж о ветре и сквозняках— и качка тут, и туман, и сотрясение от двигателей, и невесть еще что... Костя потому и трясся и одергивал Боброва по каждому пустяку.

Лишь теперь, когда опара ухожена и укрыта, можно передохнуть, дожидаясь первой подбивки теста. Но беспокойство и волнение не отпускали, сердцем он жил у дежи — такое уж это время, ничем не отвлечешься.

Впрочем, здесь, в Охотском море, было у Кости одно пристрастие, которое могло облегчить ожидание. Он поднялся на палубу, подошел к самому борту и наклонился над морской бездной.

Там, где корабль тревожил воду, вспыхивала неровная горящая полоса, перед которой тускнели звезды неба. Странно и захватывающе тянуло к себе холодное пламя, то проплывавшее зеленоватым облаком, то рассыпавшееся синими искрами, то вдруг его пропарывал почти слепяще-яркий шар — дельфин прорезал ночную воду и превращался в огненный болид.

Костя стоял у борта, оттягивая главное удовольствие — уйти на корму, где зрелище еще красочней. Но сегодня и оно как-то странно соединилось с его делом, и все виделось ему тесто, бродящее в деже, пучившееся и глядящее в теплую тьму сотней своих глаз...

Следы винтов — как лучи прожекторов, поставленных под корму. Смятая, размешанная вода горела синим пламенем, плотным и крутым. Пламя это оставалось жить позади корабля и далеко простиралось огненной полосой посреди моря, и Млечный Путь наверху был ее слабым отражением.

Свет бушевал и неистовствовал. Во тьме незаметна вода: он словно висит в пустоте, закручиваясь мощным жгутом, его округлые бока ввинчиваются вниз и вдаль. Было в этом зрелище что-то непомерное, вселенское, что-то буйно-живое, кишащее. И все-таки само собой приходило сравнение с тестом, которое месят и пестуют винты в гигантской квашне, и оно, светящееся, живое, бродит и пузырится под звездами...

Плечи и руки еще гудят от работы, поэтому кажется, что и сам помогаешь винтам месить — поворачиваешь, крутишь непомерную опару, и твоя сила превращается в плотное пламя, густым светлым облаком уходящее назад. И видишь тысячи глаз, смотрящих на тебя, и почему-то вдруг вспоминается вся океанская живность: мощные плавники касаток, просекающие волны; доверчивые и смешные морды моржей у самого борта; фонтаны китов там, у мыса Дежнева; наивные красно-белые головки топорков, мирно плавающих по склонам огромных валов; белые пунктиры птиц, протянутые с моря к серым горам Чукотки... И ярко, до жути Костя припомнил глаза осьминога, взгляд его, по-стариковски мудрый и глубокий. Именно взгляд больших осьминожьих глаз, устремленных в лицо... Осьминог попался в сеть браконьеров, задержанных пограничным кораблем, его вынули и посадили в бак, матросы долго его рассматривали, а потом выпустили в море. Он уплыл к себе, а взгляд отпечатался в душе навсегда — такая в нем мудрость, и грусть, и просьба оставить в живых... На снимках и рисунках спруты вызывали отвращение своим видом, а живой, когда рядом, оказался как разумное существо... Да, спрут смотрел по-человечьи, и это всех поразило тогда и заставило по-новому относиться к морской живности и к самому морю.

Бобров прогремел по палубе, встал за спиной, не решаясь отрывать хлебопека от созерцания и тоже любуясь невиданным зрелищем. Лишь немного погодя сказал, что встретил радиста, узнал сводку — следом идет тайфун.



Костю даже передернуло. Еще не хватало! Для опары это погибель. Обернулся, переспросил, не напутал ли чего Бобров. Нет, не напутал — идет «Элен». Чтоб ей пусто, этой «Элен»! Поднимающееся тесто не терпит шторма — сожмется, испугается, и ничем его уже не развеселишь, никакого припека не даст.

Ну и неудача! Берёг от громкого слова, от сквознячка, от стука, а здесь тайфун... Сказал Боброву, чтоб ждал у пекарни, и побежал в рубку — самому послушать сводку. Верно, тайфун. Может задеть хвостом. Проложили курс у островов, чтоб укрыться, если разбушуется. Успеть бы с тестом... Штурман сказал — успеешь. Вот бы успеть.

Костя спустился вниз. Бобров уже стоял у пекарни, притихший, настороженный: он побаивался хлебопека, не хотелось попасть впросак, сделать что-нибудь невпопад, опасался и тайфуна — сосало под ложечкой при мысли о качке.

— Сейчас помоем руки и станем подбивать мукой,— сказал Костя перед самой дверью (в последний момент не напустить бы сквозняку), потом отпер, и они быстро вошли. Бобров тут же принялся мыть руки до локтя, как приказано. Вода в кране шипела, и он тревожно поглядывал на Костю.

— Ничего, не бойся,— успокоил Костя,— опара подошла.

Вымыв руки и вытерев чистым полотенцем, Костя снял покрывала, сложил на табуретке в углу и с холодеющим сердцем слегка приподнял крышку над дежой. Это последний миг, когда узнаешь, получилось или нет... И хочется скорей узнать, и боишься,

и руки не решаются... И вот наконец по теплому, сытному запаху, дохнувшему из-под крышки, он понял, что тесто хорошее.

— Снимаем! — радостно, сломавшимся голосом крикнул Костя, и крышка легко слетела в сторону. Тесто ворочалось и пыхтело, подмигивало пузырями.

Костя погрузил посыпанные мукой руки в квашню, выхватил живой, душистый, с кружевной бахромой ком, полюбовался и опустил назад. Они принялись подбивать тесто мукой. Пекарню наполнили густой кисловатый дух и сладкая пыль. Вдыхая этот запах, Костя снова наслаждался давним домашним чувством надвигающегося праздника, представлял мать в стареньком, выстиранном переднике, видел, как она таинственно склоняется над большой кастрюлей и дает ему попробовать сырой кусочек...

А тесто сопротивлялось все яростней, все неохотней принимало удары, своевольней круглилось, распирало дежу и походило на округлые облака света, клубящиеся за кормой.

Собственное дыхание, и упорное сопение Володи, и руки, ворочающие опару, и мощная дрожь корабля, и крутое свечение ночной воды, и звезды — все сливалось в одну большую мелодию, и хотелось смеяться, плясать. И Костя, найдя этот ритм рук, машин, дыхания и моря, незаметно для себя стал пританцовывать по кафелю.

После подбивки, опять мокрые от пота и уставшие, они позаботились прежде о тесте — ему надо отдохнуть. Присыпали мучкой, закутали брезентом и одеялами и тогда лишь присели на банку. Володя закрыл глаза, прислонившись к переборке, и даже про сигареты не вспомнил. Костя пристроился рядом — не мог пошевелиться. Ему казалось, что все его силы, весь дух, весь он целиком — в деже, в тесте, под этими одеялами, а на скамейке — пустая оболочка. И он мысленно яснее видел тесто, чем собственные руки.

И он подумал, что, значит, тесто — какое надо. Когда приходит такая усталость — оно удается, и на душе стало беззаботно. И не хотелось шевелиться, да и не надо было шевелиться. Руки горячими слитками лежали на коленях, ноги непомерной тяжестью давили на кафель. Отдыхать...

Тут резко, режуще заскрежетал сигнал тревоги. Ничего еще не сознавая, заученным броском по коридору и палубе Костя очутился на полубаке. И только надев комбинезон, куртку и маску химкомплекта, приспосабливая дыхание к работе в резиновой духоте, в ту единственную свободную секунду, когда дожидался приказа, подумал о тесте, отдыхающем под одеялами. И охватило беспокойство за хлеб...

Но пекарня теперь была далеко, он понимал, что о ней думать уже нельзя.

И холодные безжалостные иглы пронизывали каждую мышцу — он отрешался от самого себя, от всего, готовился к делу, к той главной работе, для которой был призван сюда, готовился — не считаясь с собой и не жалея себя — пойти на любой, даже последний шаг. В эти мгновения, наступившие сразу после сигнала тревоги, когда ничего еще не объяснено и не ясно, кроме железного факта самой тревоги, в эти мгновения не исключалось, что сейчас совершится непоправимое... Костя не страшился этого непоправимого: служба приучила к возможности самого крайнего, и он твердо знал свое место и дело, а в деле всегда легче, нежели в ожидании. Лишь где-то на дне души, в затаенном уголке оставалась трепетная жалость ко всему живому, что может уйти в одно мгновение,— к тесту, сказочному свечению моря, грустным и мудрым глазам осьминога, к салажистому Володе, ко всему, что осталось на берегу, дома...

По правому борту грохнул взрыв с яркой вспышкой, и палубу залило дымом.

— Пробоина у первого трюма! Пластырь накладывать! — услышал Костя.

И отлегло от сердца. И он вновь почувствовал, что руки устали от теста. Тревога учебная, взрыв знакомый — подорвали патрон... Не пропадет тесто! И спрут не пропадет, и Бобров еще поможет разложить по формам...

Это все мелькало в мыслях, пока ноги несли по палубе, пока скатывался по трапу. Тяжелый костюм связывал движения, глушил дыхание, но спервоначала, не обвыкнув еще, Костя бежал, не соразмеряя сил, стараясь все делать так же быстро, как без химкомплекта. Пот ручейком щекотал спину, заливал глаза; легкие с надрывом тянули воздух, во тьме, в дыму, вместе с другими матросами ощупью и чутьем подбирался Костя к нужному месту, на ходу привыкая, вживаясь в изнуряющий костюм.

Потом раскатывали брезент, и каждое пустяковое движение рук в резиновых перчатках давалось с трудом. И эта работа была продолжением только что оконченной в пекарне, и Костя сам удивлялся, как хватает сил тянуть неподатливое полотнище, вязать концы, поднимать и вываливать неподъемный пластырь.

Бабахнул еще один взрыв, и в свете вспышки Костя на миг остановился и увидел ребят своей команды. И представилось вдруг, что такой вот зеленый, пучеглазый стучится в дом... Стучится вечерком в их дом в Усолье-Сибирском... И сестренка открывает дверь...

Но это все мельком, пока лязгнула вспышка.

Пластырь не заводился: заело что-то ниже ватерлинии. Потянули назад. В темноте Костя здорово ткнул кого-то плечом, обернулся — дозиметрист путается тут со своим прибором, шарит трубкой по палубе... Наконец завели, закрепили концы, проверили — крепко держится, надежно.

Замерцал мутный красноватый свет — «пожар» около вельбота. Но сейчас ребята в химкомплектах уже не кажутся чудищами — обыкновенные, привычные, тянут шланги, сбивают пламя.

Ну, вот, кажется, дело к концу — приказано начать дезактивацию. Костя протирает ветошью поручни и уже с беспокойством думает о тесте. Не перестояло бы... В голове тикает маленький будильничек, вот-вот зазвонит. Время еще есть, но его все меньше, меньше...

Отбой!

Расстегнул, развязал, стащил с плеч, с бедер, с ног мокрый изнутри, неподдающийся костюм... И тело радостно задышало, почуяло ветерок и морскую влагу, растворилось в свежей благодати.

Отклеил от мокрого подбородка маску, сдернул с липкой головы; блаженно вдохнул солоноватый, невозможного аромата воздух, прошелся по палубе, отмечая каждый вдох. Это как праздник — свободное дыхание, целый океан воздуха, принадлежащего тебе! Вбирай, пей, наслаждайся. О, какая роскошь, какое богатство — простой воздух! Какая радость — взгляд, не стиснутый стеклами маски, движения, не стянутые резиной комбинезона!

И за бортом — свечение моря, прочерк зеленых звезд. А когда заводили пластырь, было свечение или не было?.. Не мог вспомнить.

И будильничек, спрятанный где-то у виска, захлебисто, весело зазвонил. Пора! Поспела опара!

Слетел вниз, отпер пекарню, включил рубильник, чтоб печь разогрелась. Потом открыл кран рукомойника и подставил голову под холодную струю. Сначала он даже не столько мылся, сколько пил, но напиться все равно невозможно, и поэтому принялся умываться, то и дело хватая воду ртом.

И тогда появился Бобров. Он не вошел, а ввалился — дверь оставил открытой, сел, шумно хватая воздух, не вытирая пот с лица.

И Костя подумал, как тяжело ему с непривычки. Самому тяжело, а Боброву — просто через силу тяжело. Но тут главное не разнюниться, и Костя сказал строго:

— Умывайся. Будешь формы смазывать.

Володя жалобно, беспомощно посмотрел, привалился к переборке — глаза слипаются, голова падает на грудь. Все ж он переборол себя, выпрямился ненадолго и снова осел.

— Умойся хоть. Полегчает,— сказал Костя, набрал пригоршню воды и плеснул ему в лицо.

Тот мутно глянул исподлобья, поднялся с каким-то стариковским кряхтеньем и присосался к крану. Было слышно, как вода с бульканьем льется по горлу в желудок.

— А ну, кончай пить! Умывайся!

Тот не слышал — пил и пил. Пришлось насильно оторвать от крана, умыть, усадить.

Некогда с ним возиться. Костя приготовил формы для первого яруса печки, открыл тесто и принялся раскладывать. Тесто недовольно уже попыхивало — обижалось, что перестаивает.

Отдышавшийся Бобров смог наконец шевелить руками и, перебарывая сон, стал смазывать остальные формы. Хоть в этом польза. Костя вполне его понимал и ничего больше не требовал. Сам работал на каком-то третьем дыхании, подгоняемый тестом, которое не может больше терпеть.

Формы наполнялись медленней, чем хотелось. Теста не убавлялось, оно словно вырастало на месте взятого, и Костя с тихим отчаянием смотрел на дежу и все накладывал, накладывал, ставил, ставил...

Потом был какой-то провал памяти, время как бы остановилось. Когда Костя опомнился, не поверил — заполнялась последняя форма...

Володя храпел, вдвое сложившись на банке, уронив руку. Вот ведь не заметил, как он уснул.

И корабль начало покачивать — догнала «Элен», задела хвостом, но теперь хлебу она не страшна.

Костя открыл печь и кожей лица определил, что жар, какой надо, и вообще все идет к хорошему припеку и доброму хлебу.

Он взял первую форму и привычным броском вдвинул в печь...

Володю растолкал с трудом, сонного (голова на плече) отвел в кубрик, уложил, как маленького. Что за детский сад эти первогодки!

Самого, правда, все сильней клонило в сон. Возбуждение прошло, и одолевала усталость, но спать пока нельзя, можно лишь покемарить у печи. Костя прикрыл дверь, посмотрел на термометр и прилег. На банке помещались туловище и голова — ноги свешивались. Это хорошо: не слишком разоспишься. Да Костя и не боялся проспать, он знал: пока хлеб не готов, по-настоящему не уснет.

Кроме того, он любил эту банку, она очень походила на скамейку, стоявшую в кухне у матери. Одного взгляда на нее хватало, чтоб вспомнить дом, и большую кастрюлю, в которой мать месила тесто, и самое мать... Вот она подходит и накрывает его стареньким, вытертым одеялом... Она не знает, что он еще не спит, и он потихоньку наблюдает за матерью, и так ему хорошо, тепло от ее заботы...

Ох, даже сон увидел! Поднялся, посмотрел на часы, на термометр и опять лег, и время потянулось бесконечно. Иногда, открыв глаза, он со страхом оглядывал стрелки — думалось: проспал много часов, а оказывалось — пять минут...

Так и докемарил до поры. Выключил печь, умылся, надел свежий колпак и куртку. С трепетом открыл дверцу (кто знает причуды хлеба и печки — вместе они могут натворить невесть чего,— так он думал на всякий случай, хотя крепкий, медовый дух нового хлеба уже трубил об удаче).

Вынул форму, вторую, третью... Лицо охватил пряный хлебный жар. Буханки поблескивали ровными шоколадными корочками. Пекарню распирало праздничным ароматом, и Костя знал, что сейчас даже через закрытую дверь хлебный мед просочился в коридор и течет по кораблю сладкой рекой, и ребятам в кубрике снится горячий хлеб, и командир, который всегда нес ночную вахту, втянул воздух и ждет пробы.

Теперь самый торжественный, завершающий миг. Костя достает нож, кладет обжигающую руки буханку, разрезает вдоль и разваливает на ломти. Кусок из середины он вынимает и пробует: долго жует маленький комочек, валяя во рту так и сяк, и хочет придраться к чему-нибудь, и не может. И радостная уверенность наполняет его.

Затем он съедает весь кусок и начинает понимать, что страшно голоден — мог бы умять всю буханку. Да если б еще кружку компота... Но это потом.

Сейчас он достает плоскую тарелку, протирает, кладет в нее пробную половинку буханки, накрывает салфеткой, поправляет перед зеркальцем колпак, одной рукой одергивает куртку и выходит, неся тарелку перед собой. Он идет по пустому коридору так, словно коридор составлен из выстроившейся команды корабля.

По крутому трапу поднимается в ходовую рубку, докладывает командиру по форме, как положено. Командир строго его выслушивает, берет кусок хлеба, разламывает, жует и, не выдержав, улыбается.

— Молодец, Чувардин!

На этом кончается официальная часть. Командир угощает свежим хлебом вахтенного рулевого, радиометриста и самого Костю. Они едят и смотрят, как вырисовываются на кромке зари вулканы Курил, как из штормового моря восходит солнце и мир наполняется светом и живительным духом хлеба.